

После революции: от метафоры прогресса к чему?

А. А. Никифоров

Санкт-Петербургский государственный университет,
Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

Для цитирования: Никифоров А. А. После революции: от метафоры прогресса к чему? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Политология. Международные отношения. 2018. Т. 11. Вып. 1. С. 42–52. <https://doi.org/10.21638/11701/spbu06.2018.105>

Статья посвящена проблеме интерпретации революции в современных исследованиях и общественной науке в целом. Автор рассматривает классические и современные теоретические подходы к анализу революционного процесса, обосновывая подход к его исследованию в рамках политической науки. Предлагаемая исследовательская перспектива ориентирует на анализ революционного процесса через оценку траекторий политического и социального изменения в узком (политическая мобилизация) и широком (институциональные и общественные изменения) смыслах. Утверждается, что траектория развития революционного процесса далеко не всегда предполагает его социальный характер, поскольку зависит от влияющих на него факторов.

Ключевые слова: понятие революции, политическая революция, социальная революция, событие, проблематизация, революционный нарратив, политический ислам.

Если изучение истории, вспоминая образующиеся в ней «формации» К. Маркса, можно сравнить с геологией, то исследование революций определенно имеет сходство с сейсмологией или вулканологией, изучающей большие и малые подвижки земной коры или извержения, вызванные напряжениями от движения в земных недрах, выходящие наружу и иногда меняющие сложившийся ландшафт.

Исследование революций в общественных науках создало летопись великих событий, которые, как подметил историк Ф. Фюре в отношении Французской революции, становятся «плотиной между верхним и нижним течением <...> истории, которая разделяет, а следовательно, определяет и «объясняет» [их]» [1, с. 13]. Таким образом, в идейно-историческом наследии сформировался целый пантеон великих революций: Английская буржуазная революция 1643 г., Американская революция 1775 г., Великая французская революция 1789 г., Русская революция 1917 г., Китайская и Кубинская революции 1949 и 1959 гг. и это далеко не весь список.

Созданная под воздействием изучения «великих революций» метафора ее чистого образа весьма точно была раскрыта израильским социологом Ш. Эйзенштадтом: 1) наличие освободительного идеала; 2) фундаментальный характер причин; 3) насильственный характер событий; 4) радикальный разрыв с прошлым; 5) тотальность изменений [2, с. 44–45].

В зарубежной социологии взгляд на революцию как на фундаментальный социальный сдвиг сформировал классические для теорий дефиниции. Американская исследовательница революций Т. Скочпол, во многом следуя марксистской тради-

ции анализа, в своей классической работе «Государства и социальные революции» определила их как «стремительные коренные трансформации государственных и классовых структур общества, которые сопровождаются и частично поддерживаются классовыми восстаниями снизу» [3, р. 4]. Представитель политологического мейнстрима С. Хантингтон обобщенно обозначил революцию как «быструю, фундаментальную и насильственную, произведенную внутренними силами общества смену господствующих ценностей и мифов этого общества, его политических институтов, социальной структуры, руководства, правительственной деятельности и политики» [4, с. 25].

Однако последние десятилетия XX в. и период с начала XXI в. по настоящий момент продолжают ставить перед исследователями вопросы относительно определения событий в политической истории. От этого события «бархатных революций» в Восточной Европе сохраняют весьма двусмысленный характер¹, как, впрочем, и политические процессы в 1991 г. на постсоветском пространстве, революционность которых остается в тени категории «распад СССР»².

Относительно недавние события в Югославии/Сербии (2000), Грузии (2003), на Украине (2004) и в Киргизии (2005, 2010) получили, прежде всего в отечественном научном сообществе и политических кругах, общее клишированное название «цветные революции»³.

Еще более свежие процессы — «арабская весна» и Евромайдан — вновь поляризовали научную и общественную дискуссии по вопросу интерпретации событий.

И все же стоит отметить, что более фундаментальный характер носит вызов классическому пониманию революции со стороны событий в Иране 1979 г., период смены режима и установления власти движения «Талибан» в Афганистане (1996–2001), а также феномен политического правления ИГИЛ на территории Сирии и Ирака⁴.

В этом отношении цель данной статьи на фоне 100-летия Русской революции состоит не столько в том, чтобы вновь поставить вопрос об интерпретации понятия революции в целом, сколько в том, чтобы предложить политологическое уточнение его рамок, пригодное для анализа и сохраняющее возможность для долгосрочной смысловой интерпретации событий.

Вышеназванные вызовы получили оценку многих исследователей революционных процессов (Дж. Голдстоуна, Дж. Гудвина, Э. Селбина, Дж. Форана и др.), вызвав переосмысление классического структурного подхода к проблеме в пользу более комплексного анализа, включающего идейное, культурологическое, деятельностное измерения событий.

¹ Английский политический историк Т. Г. Эш в свое время определил события в Польше и Венгрии 1989 г. посредством неологизма «революция» (refolution), обозначающего неревolutionционную революцию, которая является гибридом двух процессов: реформы и революции [5, р. 14].

² Лишь небольшое число работ интерпретирует произошедшие события как революцию [6; 7].

³ Англоязычным эквивалентом этого стал неологизм «*revelction*» — гибрид слов «революция» и «выборы».

⁴ Особенно примечательно, что если участники событий 1979 г. сохранили преемственность категории революции на уровне самоидентификации, то установление упомянутых форм радикального политического ислама демонстрирует разрыв с европейской традицией использования понятия, отвергая концепт.

Однако ключевым становится расширение привычных рамок понимания революции. Одним из ведущих современных исследователей вопроса Дж. Голдстоун революция определена как «попытка преобразовать политические институты и дать новое обоснование политической власти в обществе, сопровождаемая формальной или неформальной мобилизацией масс и такими неинституционализированными действиями, которые подрывают существующую власть» [8, с. 61]. Исходя из подобной перспективы ученый открывает направление для включения изучения революций в рамки анализа проблемы нестабильности режимов и государственных кризисов [9].

Данная исследовательская перспектива позволяет взять за основу революции как политологического понятия *неконвенциональное разрушение воспроизводства политического порядка на определенной территории мобилизованными (общественными) группами*.

С одной стороны, подобный подход находит примеры в раннем политическом дискурсе революции как способе описать гражданские волнения или смену власти в итальянских городах-республиках. С другой стороны, подобная интерпретация в большей степени соответствует обширному материалу анализа политических конфликтов, исследованных Ч. Тилли в рамках исторической социологии, обозначая фатальную для правительства ситуацию политической борьбы, когда оно становится объектом «эффektivных, конкурентных, взаимоисключающих требований со стороны двух или большего количества участников политики» [10, р. 439], создавая ситуацию множественного суверенитета и точку дальнейшего развертывания политической революции.

Предложенная концептуализация имеет преимущество, заключающееся в возможности относительно четко определить революционный процесс через категории места и времени. Это в свою очередь определяет связь анализа революции с государством как центром производства политического порядка и пространством области политического *per se*.

В первом случае речь идет о необходимости дополнительного учета в анализе государства пределов суверенитета в международном контексте, что может быть определено через параметры миросистемной открытости экономики [11, р. 18–19] или зависимости от международных политических союзов и помощи (см.: [12, с. 96–97]). Также данное направление предполагает то, что исследователь истоков социальной власти М. Манн определил как содержание баланса деспотической (внеинституциональных действий) и инфраструктурной (способность логистически реализовывать управленческие решения) власти в государственных образованиях, которые по своим исключительным характеристикам организованы для осуществления множества функций и территориально централизованы [13, р. 112].

В современном приложении неовебериянской парадигмы к анализу революции речь идет об анализе расколов внутри неопатримониального режима для определения конфигурации основных акторов и возможностей революционной мобилизации. Инфраструктурная власть в данном случае связана с понятием государственной состоятельности, уровнем административного контроля и долей теневого сектора в части осуществления основных функций государственного управления.

В отношении вопроса о пространстве политической революции обеспечивается потенциал волны расширения той области эмансипации, которую французский

философ Ж. Рансьер противопоставил полицейско-управленческому воздействию государства [14, с. 99–110]. Речь идет о весьма подвижной границе, которая как кристаллизует субъектов публичных требований, так и вовлекает ранее автономные/изолированные группы населения в практики взаимодействия с административными структурами в различных формах протестных действий.

Особый пространственный характер отношений государства и общества отмечает социолог Т. Митчелл, критикуя концепцию государственной автономии Т. Скочпол, указывая на тот факт, что исторически власть и практики управления проходили через сеть институциональных механизмов, посредством которых поддерживается и определен социальный и политический порядок. Государство в этом отношении становится следствием развития процессов детальной территориальной организации, временной систематизации, функциональной спецификации, контроля и надзора, которые и создают основу для появления фундаментального разделения на государство и общество [15, р. 95].

Подходы М. Манна и Т. Митчелла указывают на разные следствия функционирования социо-технологических механизмов и практик социальной организации: если первый анализирует границу «государство-общество» на более общем структурном уровне посредством концепта инфраструктурной власти, то второй — на микроуровне.

В этом отношении революционный процесс изначально реализуется как политическая борьба в конкретном пространстве и времени. Это пространство и время политической мобилизации (восстание, акции протеста и пр.) переводят государство из режима-состояния целостно действующего субъекта-системы в состояние локальной фрагментации. В этот момент налаженный процесс принятия и реализации решений начинает давать сбой под давлением политических субъектов, утверждающих принцип соперничества за территориальную инфраструктуру власти и механизмы ее определения как системной данности, что хрестоматийно описано у В. Ленина (см.: [16, с. 247]).

Политическая мобилизация имеет здесь явное пространственное измерение, а поскольку государство может функционировать только в условиях территориальной централизации, то конечным фактором успеха революции является неспособность государства использовать средства принуждения (вооруженные силы и полицию), что отмечает большинство теоретиков — исследователей революций: К. Бринтон, Ч. Джонсон, Т. Гарр, Т. Скочпол, Ч. Тилли, Дж. Голдстоун и др.

Таким образом, мы можем перевести изложенные принципы в одну политическую логику, согласно которой революция изначально реализуется как ограниченное по месту и времени политическое действие (политическая революция). Данное изначальное событие становится триггером процесса дальнейших трансформаций, которые в широком смысле означают переопределение (исторически расширение) гражданских и политических прав (политическая революция в широком смысле).

Классическая категория «социальной революции» в этом отношении может быть рассмотрена в двух измерениях: а) в узком смысле — как специфика политической мобилизации и конфликтного взаимодействия (поляризация, политизация и вовлечение в политическую борьбу населения как социальных групп с различными требованиями); б) в широком смысле — как изменение социальных ролей, прин-

ципов распределения ресурсов и отношений собственности в ходе трансформации институтов и широких практик общественного воспроизводства.

Значительное влияние на развертывание революции на этапе политической борьбы оказывает характер мобилизационных структур претендентов на власть, которые включают в себя формальные и неформальные каналы, через которые осуществляется вовлечение в коллективное действие. Индикаторами трансформации политической революции в социальную на этапе борьбы за власть могут стать социальный и профессиональный состав участников, массовость, территориальная локализация, широта требований, состав революционной коалиции [11, р. 65–74].

Таким образом, траектория развития революции на этапе мобилизации и борьбы за власть развивается и охватывает изначально политическую область, но в ряде случаев может приобрести и социальное содержание.

Подобное разграничение также позволяет анализировать такие формы реализации политической революции, как перевороты, когда падение режима обусловлено политической мобилизацией представителей правящего класса (военных, управленческого аппарата и пр.).

Изложенная логика также позволяет вынести результаты пострежимных трансформаций в отдельные траектории анализа развертывания революции: наличие широких институциональных политических и/или социальных изменений. Предлагаемые категории и их соотношение в рамках процессов трансформации представлены ниже (см. рис.).

Таким образом, можно говорить о многовариативности революционного процесса, который по мере столкновения со структурными ограничениями может отклонять траекторию своего развития вплоть до реверсии. Пример политических революций на Украине 2004 и 2013 гг. демонстрирует, что хотя процессы мобилизации в 2013–2014 гг. затронули более широкие социальные слои (география, формы вовлечения и число участников массовых акций) и гораздо сильнее поляризовали украинское общество в сравнении с 2004–2005 гг., однако траектория развития процесса сама по себе ограниченно затронула политические и тем более социальные

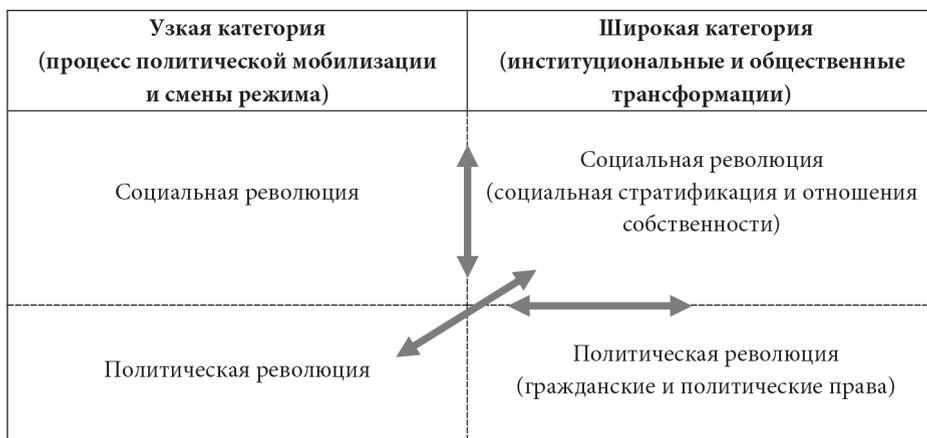


Рис. Категории и траектория революционного процесса

институты, став к настоящему времени в большей степени лишь вновь использованным механизмом неконвенциональной смены управленческой элиты конфликтующей группой общего правящего класса.

Об этом говорит судьба конституционной реформы, получившей слабые институциональные основания после политической революции 2004 г., что позволило ее отменить в 2010 г.; в 2015 г. реформа вновь оказалась в тупике уже в части реализации принципов децентрализации с расширением принципов местного самоуправления. При этом оценка трансформации по Индексу Бёртельсманна демонстрирует более значимые изменения после первой политической революции, чем после последней (к настоящему времени). Оценка политических трансформаций выросла в 2006 г. до значения 7,1 в сравнении с 3,2 в 2003 г., экономических — до 6,6 с исходного значения в 2,7. При сравнении показателей за 2012 и 2016 гг. видно, что оценка политических трансформаций выросла с 6,1 до 6,8 (ниже показателей 2006 г.), а экономических — упала с 5,7 до 5,4 [17]. При этом фактор экономического кризиса и вооруженного конфликта на юго-востоке страны лишь частично объясняет ограниченность текущих постреволюционных преобразований.

Применение вышеизложенного подхода, безусловно, содержит в себе ряд рисков, которые необходимо четко определить. Социальный философ Б. Капустин отмечает угрозу экспансии теоретического универсализма, присущего в значительной степени социологии, заключающей объект в конкретные пределы, что является, особенно в данном случае, примером явного репрессирования революции как освободительного начала и уникального события, которое представляет собой одновременно и мощнейший источник социального изобретения (см.: [18, с. 25]).

В наиболее явном виде угроза «стерилизации» революции при ее изучении с позиции анализа причин нарушения политического порядка прослеживается в современных исследовательских проектах глобального мониторинга государственной несостоятельности⁵ и политической нестабильности⁶. Конечно, в подобной тенденции не только угадывается, но и вполне читается стремление органов государственной власти и наднациональных структур контролировать вызовы политическому порядку «конца истории»⁷.

В этом отношении представляется, что данная проблема связана не столько с «социологическим подходом», сколько с недостаточным вниманием к субъектам и инновационному потенциалу революционного процесса. Это отдельная и обширная тема, которую нет возможности обсудить в рамках данной статьи, однако можно заметить, что ответ на данный вызов может лежать в области изучения конфликтной политики (contentious politics) и общественных движений (social movements).

Другого рода проблема предложенной интерпретации могла бы состоять в том, что революция приобретает узкое и излишне прикладное измерение, оказавшись вписанной исключительно в пространство политического действия и смены субъ-

⁵ Failed States Index, Index of State Weakness in the Developing World, Country Indicators for Foreign Policy Fragility Index и др.

⁶ State Fragility Index, Peace and Conflict Instability Ledger и др.

⁷ Примерами становятся государственные программы анализа угроз (например, Analyzing Complex Threats for Operations and Readiness) и внимание к соответствующим исследованиям со стороны международных организаций (например, ООН, Всемирный банк), что хорошо иллюстрирует обзор методов прогнозирования политической нестабильности Мата и Зиажа [19].

ектов власти. Такая ситуация характерна для оценки революций/кризисов политических режимов в рамках теории демократического транзита, которая, вслед за политизированным марксизмом-ленинизмом и теорией модернизации, оставляет за ней по большей части функцию перехода: от «автократии» или «гибридного режима» к «демократии» в случае современного политологического мейнстрима.

Однако предлагаемый анализ траекторий революционного процесса (прежде всего на уровне политической мобилизации и смены режима) неизбежно предполагает событийность⁸, в которой в тех или иных формах возникает пространство магического реализма⁹, через которое кристаллизуется субъект революционного процесса. Между тем данное измерение пространства политического события является частным примером процесса проблематизации, который запускает метафору и интерпретацию революционного кризиса. Это отдельная и крайне важная траектория развития революции, требующая отдельного изучения.

Понятие проблематизации исходит из его обоснования М. Фуко как совокупности «дискурсивных или недискурсивных практик, которая вводит ту или иную вещь в игру истинного и ложного и конституирует ее в качестве объекта для мысли» [20, с. 10]. В этом отношении траектория революционного процесса проходит через специфичные ситуации политические категории (друзья и враги, патриоты и лоялисты, буржуазия и пролетариат, авторитаризм и демократия, прошлое и будущее и др.), устанавливая общезначимые различия, меняя эффект масштаба вовлечения в событие, глубину психологического ощущения разрыва пространства-времени¹⁰.

Классические революции были осмыслены именно как ключевые события, проблематизация которых выкристаллизовала политическую мысль и публичное пространство. Революционный процесс может быть понят как динамика экспансии новой политической истины, которая стремится проникнуть глубоко в ткань общественной жизни посредством тотальных по своему масштабу практик: введение нового календаря, национальных праздников, проведение широких преобразований, применение политического насилия. В таком движении максима процесса проблематизации для любой революция состоит в попытке совершить невозможный *salto mortale* — стать окончательной и всеобщей, установив новую, верную — и окончательную — точку отсчета для широкой сферы опыта человеческой жизни.

С позиции глобальной коммуникации и транснациональной зависимости многие современные политические революции в наибольшей степени стремились манифестировать себя через своеобразный перформативный акт. В большей степени это эффект традиционных медиа, Интернета и самой организации протеста, которые позволили почти одновременно с событиями проблематизировать их в качестве общезначимых (для их сторонников, противников и международного сообщества). Публично-революционный характер событий здесь обеспечивал

⁸ Любому политическому порядку соответствуют механизмы его воспроизводства, которые предполагают преодоление разрыва политического пространства и времени: через выборы, наследование, политическое принуждение/насилие.

⁹ Введенное Э. Селбиным и расширенное Д. Фораном понятие здесь рассматривается как имманентная возможность нового действия, которое «заражено» альтернативой (утопией), сформировавшейся в смысловом пространстве, где реальный опыт и мифы восстаний и революций прошлого переплетены в политическом действии настоящего и проблематизированы в категории будущего.

¹⁰ В классическом варианте Французской революции это понятие «старого режима» как единого в своей логике прошлого.

функцию того самого перформативного акта, меняющего статус объекта после его наименования/описания, устанавливая и легитимируя при этом видимую связь со столбовой дорогой истории.

В этом измерении в международном контексте траектория проблематизации современного революционного процесса в значительной степени связана с вопросом о легитимации новой власти. Это, в свою очередь, связано с тем, окажется ли проблематизация событий по своему содержанию соответствующей метанарративу революции как позитивного освобождения: необходимость борьбы с диктатурой, несвободой и угнетением, сопровождающаяся расширением гражданских прав и ненасильственным протестом¹¹.

Существует и противоположный метанарратив, связанный с консервативной и негативной трактовкой событий как насилия, хаоса и отрицания форм старого порядка, которая имеет маргинализирующий событие эффект. Особенно важен здесь компонент насильственного характера действий, наличие репрессий и террора — всего того, что вслед за консерватизмом Э. Бёрка и Ж. де Местра становится объектом особого порицания в исследованиях толпы у французских психологов конца XIX — начала XX вв., трансформируясь в критику новых попыток «социалистического проекта» в XX в.

В настоящее время можно указать на новую фигуру в дискурсе маргинализации революционного процесса. Речь идет о политическом исламе, военно-политическая манифестация которого оказалась в значительной степени заключена в категории национальной безопасности, экстремизма и международного терроризма.

В этом отношении примечательной во всех отношениях является публикация американского исследователя революций С. Волта, определившего схожесть экстремистских форм политического управления ИГИЛ с политической практикой времен революций во Франции, России, Китае, на Кубе, Камбодже и Иране [21]. Подобная характеристика революций, относящаяся по ряду признаков к консервативному метанарративу события, вполне обоснована с точки зрения содержательной оценки характера политических и социальных процессов, имевших место на территории под контролем ИГИЛ в Сирии и Ираке.

Подобная интерпретация конфликтует с традицией «социальной», «демократической», «прогрессивной» оценки революций, однако современные преобразования под знаменем политического ислама на руинах старого порядка ставят перед исследователями гораздо более серьезные вопросы: в какой логике могут быть связаны революции XX и XXI вв., каковы перспективы идей Просвещения в новых революционных утопиях, каковы возможности и ограничения широких политических и социальных революционных изменений в условиях глобального мира, каковы

¹¹ Этот метанарратив в значительной степени укоренен в идеях Просвещения и в настоящий момент основывается на политической философии либерализма с известными допущениями. В силу этого марксизм, в котором высока значимость дискурса классовой диктатуры и отрицания индивидуального права собственности, оказывается в противоречивом положении. Однако трактовка революции как освобождения часто оказывается все же первичной. Пример Кубинской революции демонстрирует это через первоначальное международное признание нового правительства со стороны США, за которым, однако, довольно быстро следует введение эмбарго и попытка интервенции, когда революция выходит за рамки интерпретации политического факта освобождения от диктатуры.

перспективы утверждения политического ислама в качестве революционного нарратива?

Ранее ответ на данные вопросы в значительной степени формулировал марксизм. В современных реалиях эти вопросы требуют ответа в виде нового или переосмысленного синтеза исторической логики событий.

«Революция» в качестве политического понятия возникла как синоним повторения или возврата. События 1789 г. выкристаллизовали политического субъекта — революционера. Революция в СССР 1991 г. обозначила себя как распад, породив в разных вариациях идею конца истории и единого мира. Возможно, в этом ряду сама история изучения революции могла бы быть рассмотрена как процесс отчуждения исследователя от исторического процесса.

Однако обозначенная в тексте проблема следования классическому пониманию революции — на уровне функционального определения и общей прогрессистской интерпретации — в современности неизбежно соотносится с противоречием глобальных трансформаций, разрушающих линейность интерпретаций и привычные контуры описания мира.

В конечном итоге вопрос о революции становится вопросом как о способе описания противоречивого множества крахов старых политий и формирования новых (национальных и непризнанных) режимов, так и о направленности изменений, самой логике исторического процесса. В настоящий момент в отношении последнего вопроса общественная наука не может найти себя, а значит, эвристичность изучения революции лежит в большей степени в области объективистского и дискретного анализа, выносящего идею политического изменения и его смысла в отдельный предмет — исследование траектории проблематизации революции. В конечном итоге данный взгляд не мешает поиску нового синтеза исторической логики событий, обеспечивая одновременно его критическое осмысление.

Литература

1. *Фюре Ф.* Постигание Французской революции. СПб.: ИНАПРЕСС, 1998. 224 с.
2. *Эйзенштадт Ш.* Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций. М.: Аспект Пресс, 1999. 415 с.
3. *Skocpol T.* State and Revolution: Old Regimes and Revolutionary Crises in France, Russia, and China // *Theory and Society*. 1979. Vol. 7, N 1/2. P. 77–96.
4. *Хантингтон С.* Политический порядок в меняющихся обществах. М.: Прогресс-Традиция, 2004. 480 с.
5. *Ash T. G.* We the People: The Revolution of '89 Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin and Prague. London: Granta, 1990. 156 p.
6. *Стародубровская И. В., Мау В. А.* Великие революции: от Кромвеля до Путина. Второе исправленное и дополненное издание. М.: ВАГРИУС, 2001. 510 с.
7. *Магун А.* Отрицательная революция: к деконструкции политического субъекта. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2008. 416 с.
8. *Голдстоун Д.* К теории революции четвертого поколения // *Философско-литературный журнал «Логос»*. 2006. № 5. С. 58–103.
9. *Goldstone J. A., Ulfelder J.* How to construct stable democracies // *The Washington Quarterly*. 2004. Vol. 28, N 1. P. 7–20.
10. *Tilly C.* Does Modernization Breed Revolution? // *Comparative Politics*. 1973. Vol. 5, N 3. P. 425–447.

11. *Foran J.* Taking Power: On the Origin of Third World Revolutions. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 395 p.
12. *Бартушка В.* Советское влияние на смену режима в Чехословакии в 1989 г. // Революции 1989 года в странах Центральной (Восточной) Европы: взгляд через десятилетие. М.: Наука, 2001. С. 176–182.
13. *Mann M.* The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results // States in history / ed. by J. A. Hall. London: Basil Blackwell, 1986. P. 109–136.
14. *Рансьвер Ж.* На краю политического. М.: Праксис, 2006. 237 с.
15. *Mitchell T.* The Limits of the State: Beyond Statist Approaches and Their Critics // American Political Science Review. 1991. Vol. 85, N 1. P. 77–96.
16. *Ленин В. И.* Марксизм и восстание // Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. М.: Политиздат, 1981. Т. 34. С. 242–247.
17. Ukraine Country Report. URL: <http://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/ukr/> (дата обращения: 02.11.2017).
18. *Капустин Б.* О предмете употребления понятия «революция» // Философско-литературный журнал «Логос». 2006. № 6. С. 3–47.
19. *Mata J. F., Ziaja S.* Users' Guide on Measuring Fragility. Bonn: German Development Institute and the United Nations Development Programme, 2009. 139 p.
20. *Кастель П.* «Проблематизация» как способ прочтения истории // Мишель Фуко и Россия: сб. статей / под ред. О. Хорхордина. СПб.; М.: Европейский университет в Санкт-Петербурге, Летний сад, 2001. С. 11–45.
21. *Walt S. M.* ISIS as revolutionary state // Foreign Affairs. 2015. Vol. 94, N 6. P. 42–51.

Статья поступила в редакцию 26 октября 2017 г.

Статья рекомендована в печать 5 декабря 2017 г.

Контактная информация:

Никифоров Александр Андреевич — канд. полит. наук, доц.; nikiforov@politpro.ru

After revolutions: From metaphor of progress to what?

Nikiforov Alexander A.

St. Petersburg State University,
7–9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

For citation: Nikiforov A. A. After revolutions: From metaphor of progress to what? *Vestnik of Saint Petersburg University. Political Science. International Relations*, 2018, vol. 11, issue 1, pp. 42–52. <https://doi.org/10.21638/11701/spbu06.2018.105>

The article is devoted to the scientific issue of revolution in contemporary studies and social science in general. The author examines classic and contemporary theoretical approaches to the analysis of the revolutionary process and offers the approach for the studying that is appropriate for political science. The proposed research perspective focuses on the analysis of the revolutionary process through its trajectory of political and social change in a narrow (political mobilization) and large (institutional and societal changes) scales. The author is argued that the trajectory of the revolutionary process does not always imply its social nature, which is influenced by different factors.

Keywords: revolution, study of revolution, political revolution, social revolution, event, problematization, revolutionary narrative, political Islam.

References

1. Furet F. *Postizhenie Frantsuzskoi revoliutsii [Interpreting the French revolution]*. St. Petersburg, INAPRESS, 1998. 224 p. (In Russian)

2. Eisenstadt S. *Revoliutsiia i preobrazovanie obshchestv. Sravnitel'noe izuchenie tsivilizatsii* [Revolution and the transformation of societies: A comparative study of civilizations]. Moscow, Aspekt Press, 1999. 415 p. (In Russian)
3. Skocpol T. State and Revolution: Old Regimes and Revolutionary Crises in France, Russia, and China. *Theory and Society*, 1979, vol. 7, no. 1/2, pp. 77–96.
4. Huntington S. *Politicheskii poriadok v meniaiushchikhsia obshchestvakh* [Political order in changing societies]. Moscow, Progress-Traditsiia Publ., 2004. 480 p. (In Russian)
5. Ash T. G. *We the People: The Revolution of '89 Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin and Prague*. London, Granta, 1990. 156 p.
6. Starodubrovskaiia I. V., Mau V. A. *Velikie revoliutsii: ot Kromvelia do Putina* [The great revolutions: from Cromwell to Putin]. 2nd revised and supplemented ed. Moscow, Vagrius Publ., 2001. 510 p. (In Russian)
7. Magun A. *Otritsatel'naia revoliutsiia: k dekonstruktsii politicheskogo sub'ekta* [Negative revolution: to the deconstruction of the political subject]. St. Petersburg, Publishing house of the European University in St. Petersburg, 2008. 416 p. (In Russian)
8. Goldstone J. K teorii revoliutsii chetvertogo pokoleniia [Toward a fourth generation of revolutionary theory]. *Philosophical and literary journal Logos*, 2006, no. 5, pp. 58–103. (In Russian)
9. Goldstone J. A., Ulfelder J. How to construct stable democracies. *The Washington Quarterly*, 2004, vol. 28, no. 1, pp. 7–20.
10. Tilly C. Does Modernization Breed Revolution? *Comparative Politics*, 1973, vol. 5, no. 3, pp. 425–447.
11. Foran J. *Taking Power: On the Origin of Third World Revolutions*. Cambridge, Cambridge University Press, 2005. 395 p.
12. Bartushka V. Sovetskoe vliianie na smenu rezhima v Chekhoslovakii v 1989 g. [Soviet influence on the regime change in Czechoslovakia in 1989]. *Revoliutsii 1989 goda v stranakh Tsentral'noi (Vostochnoi) Evropy: vzgliad cherez desiatiletie* [Revolution of 1989 in the countries of Central (Eastern) Europe: a look through the decade]. Moscow, Nauka Publ., 2001. (In Russian)
13. Mann M. The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results. *States in history*, ed. by J. A. Hall. London, Basil Blackwell, 1986, pp. 109–136.
14. Rancière J. *Na kraiu politicheskogo* [On the edge of the political]. Moscow, Praksis Publ., 2006. 237 p. (In Russian)
15. Mitchell T. The Limits of the State: Beyond Statist Approaches and Their Critics. *American Political Science Review*, 1991, vol. 85, no. 1, pp. 77–96.
16. Lenin V. I. Marksizm i vosstanie [Marxism and Insurrection]. Lenin V. I. *Polnoe sobranie sochinenii* [Complete Works], 5th ed. Moscow, Politizdat, 1981, vol. 34, pp. 242–247. (In Russian)
17. Ukraine Country Report. Available at: <http://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/ukr/> (accessed: 02.11.2017).
18. Kapustin B. O predmete upotrebleniia poniatia "revoliutsiia" [On the subject of the use of the concept of "revolution"]. *Philosophical and literary journal Logos*, 2006, no. 6, pp. 3–47. (In Russian)
19. Mata J. F., Ziaja S. *Users' Guide on Measuring Fragility*. Bonn, German Development Institute and the United Nations Development Programme, 2009. 139 p.
20. Kastel R. «Problematizatsiia» kak sposob prochteniia istorii ["Problematization" as a way of reading history]. *Mishel' Fuko i Rossiia: sb. statei* [Michel Foucault and Russia: Sat. articles]. Ed. by O. Horkhordin. St. Petersburg, Moscow, Evropeiskii universitet v Sankt-Peterburge, Letnii sad Publ., 2001, pp. 11–45. (In Russian)
21. Walt S. M. ISIS as revolutionary state. *Foreign Affairs*, 2015, vol. 94, no. 6, pp. 42–51.

Author's information:

Nikiforov Alexander A. — PhD, Assistant professor; nikiforov@politpro.ru